



ЯД ЧИНКВЕЧЕНТО

Фальшивка становится шедевром лишь тогда,
когда за неё заплачено кровью создателя

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

NEVER MORE

18+

Never More

Яд Чинквеченто

«Автор»

2026

More N.

Яд Чинквеченто / N. More — «Автор», 2026

Шедевр стоит миллионы. Подделка — жизни. Но страшнее всего цена, которую заплатят оба. Вера Романова знала об искусстве всё, кроме того, что её жизнь построена на грандиозной лжи. После гибели отца, легендарного реставратора, в её холодную мастерскую входит Даниил Леманн. Финансовый хищник, воротила теневого арт-рынка и человек, которому покойный задолжал состояние. У него в руках расписки, улика для тюремного срока и смертельный контракт. У неё скальпель, феноменальный глаз эксперта и ледяная ненависть. Чтобы спастись от Интерпола и синдиката фальсификаторов, Вера соглашается играть по его правилам. От закрытых салонов Петербурга до подземных хранилищ Вены и альпийских шале Швейцарии Даниил шаг за шагом ломает её мир, сдирая с неё прежнюю невинность, как старый лак с чужого холста. Он хотел вырастить идеальное оружие и покорную сообщницу. Но он забыл главное правило реставрации: когда с картины смывают фальшивку, обнажается подлинник. И этот подлинник жаждет крови своего создателя.

© More N., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. АНАТОМИЯ РАСПАДА	5
ЧАСТЬ I. АНАТОМИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ГЛАВА 1. ПРОБА НА ПОДЛИННОСТЬ	10
ГЛАВА 2. РИТУАЛ ОБЛАЧЕНИЯ	16
ГЛАВА 3. ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Never More

Яд Чинквеченто

ПРОЛОГ. АНАТОМИЯ РАСПАДА

«В ситуации острой аффективной декомпенсации, развивающейся на фоне пролонгированной травматической привязанности, болевой порог субъекта претерпевает необратимую инверсию. Точка предельного насилия — физического или символического — парадоксальным образом считается сознанием как единственный доступный эквивалент безопасности. Акт обоюдного уничтожения становится для расщепленного "Я" не угрозой, а завершением акта слияния с агрессором».

— Из материалов научно-исследовательского института судебной психиатрии и клинической психопатологии (Цюрих, монографическая серия «Деструктивные диадy», том 19, 1989)

Холод не имел вкуса, но имел плотность.

Он поднимался от плит мрамора Калакатта, прошивал босые ступни Веры ледяными иглами и застревал где-то под коленными чашечками, превращая связки в онемевшие жгуты. Но она не двигалась. Она стояла у панорамного окна девятиметровой высоты, отделявшего пентхаус на Херренгассе от серого, вымороженного чрева Вены.

За двойным бронированным стеклом город умирал в тумане. Острые, как хирургические иглы, неоготические шпили Вотивкирхе вспарывали молочно-белое низкое небо. Внизу, на Ринге, едва различимо ползли желтые огни трамваев — слепые жуки, размазывающие сырость по мокрому асфальту. Вена девять месяцев назад казалась ей музеем, залитым карамельным светом кофеен и запахом корицы. Сейчас этот город был анатомическим театром. Прозекторской, облицованной имперским песчаником, где каждый барельеф скрывал застывшую гниль вековых фальсификаций.

На Вере не было ничего, кроме его сорочки.

Белый плотный шелк, пошитый на заказ в миланском ателье Brionu, висел на ее теле чужим саваном. Плечевые швы спускались почти до середины плечей, воротник не прилегал к шее, открывая ключицы и тонкую, бледную полоску кожи, на которой в мутном свете утра отчетливо проступали желтовато-серые тени старых гематом. Ткань хранила его тепло и его запах. За девять месяцев этот запах вытеснил из ее обонятельной памяти всё: запах мастичного лака, пихтового скипидара, пыли старых переплетов и ее собственных духов. Осталась только едкая, морозная горечь ветивера, оружейная смазка, сухой табак и животный, тяжелый дурман самца, который находился в тридцати метрах позади нее.

В правой руке Вера сжимала реставрационный скальпель.

Японская сталь ультратонкой закалки, инструмент для послойной расчистки грунта старых мастеров. Рукоять из рифленого титана приятно холодила огрубевшую кожу подушечки указательного пальца. Лезвие длиной всего в четыре сантиметра, выведенное под углом тридцать градусов, предназначалось для того, чтобы снимать микроскопические чешуйки чужого лака, не задевая авторский левкас. Но металл не знает разницы между свинцовыми белилами шестнадцатого века и человеческой плотью.

Ее пальцы не дрожали. Вся нервная дрожь, та унижительная, жалкая судорога, что выворачивала ее наизнанку в Петербурге, выгорела дотла. Осталась лишь ледяная, хирургическая четкость.

В глубине апартаментов затих монотонный гул воды.

Щелкнул клапан термостата. Звук эхом отразился от гладких поверхностей бетона, тонированного стекла и темного дуба. Вера не обернулась. Она знала временную шкалу этого утра с точностью до секунды.

Четыре минуты на холодный душ. Даниил никогда не включал горячую воду после утренней тренировки, смывая пот ледяным напором, выравнивающим пульс после гребного тренажера. Тридцать секунд на то, чтобы насухо растереть плечи и широкую грудь грубым льняным полотенцем. Двенадцать шагов по полированному паркету коридора.

Он шел босиком. Но при его весе в девяносто восемь килограммов и росте под два метра каждый шаг отзывался микроскопической вибрацией в плитах перекрытия.

Вера видела его приближение в зеркальном отражении стекла.

Размытый силуэт гиганта, сотканный из серого тумана и рассеянного комнатного света. Обнаженный торс: чудовищная, хищная арка широчайших мышц, полосатые выступы зубчатых мышц вдоль ребер, глубокий желоб вдоль позвоночника. Мышцы человека, который провел юность на веслах в ледяной воде Невы, ломая сопротивление течения, а затем перенес эту слепую, механическую ярость в финансовые залы и чужие спальни. На нем были только свободные домашние брюки из тонкого графитового хлопка, державшиеся на узких бедрах. Вода еще блестела на его ключицах, сбегая прозрачными каплями сквозь темные волоски на груди к плоскому, каменному прессу.

Он подошел без предупреждения.

Не замедляя шага, Даниил врезался в нее сзади, как тяжелая океанская волна в волнорез.

Пространство между ними перестало существовать. Вера судорожно втянула воздух сквозь плотно сжатые зубы, когда его горячий, влажный торс впечатал ее спину в шелк рубашки. Разница в тридцать сантиметров роста делала ее положение безнадежным: ее затылок уперся ему в грудную кость, чуть ниже яремной вырезки. Он был раскален. От него исходил тот самый тяжелый, концентрированный мужской жар, который каждую ночь лишал ее рассудка, превращая ненависть в физиологический стон.

— Ты не собрана, Вера, — его голос прогремел над ее макушкой.

Низкий, хриплый после сна, с той специфической вибрацией голосовых связок, которая отдавалась у нее прямо в диафрагме. Он не повышал тона. Даниил никогда не кричал. Он отдавал команды с той же интонационной небрежностью, с какой бросал биржевые приказы своим клеркам в Цюрихе.

Его правая рука поднялась. Широкая ладонь с толстыми, загрубевшими от спортивных снарядов пальцами медленно легла ей на шею спереди.

Он не сдавил горло, просто обхватил его полukoльцом, положив подушечку большого пальца точно на развилку сонной артерии. Под его кожей забилась ее живая, загнанная кровь — сто двадцать ударов в минуту. Лихорадочный, рваный ритм жертвы, пойманной в капкан.

Леманн тихо, утробно усмехнулся. Вибрация его грудной клетки прокатилась по ее лопаткам.

— Пульс высокий. Ты опять не спала. Сидела над цюрихскими выписками?

Вера не ответила. Ее взгляд был прикован к отражению в стекле. В серой мгле окна их тела сливались в единый уродливый, пугающе совершенный гибрид: тонкий, изломанный стебель женского тела, зажатый в мощных тисках черного и бронзового гранита.

— До начала предаукционного закрытого брифинга в «Доротеуме» сорок минут, — продолжил он, наклоняясь чуть ниже. Его губы, влажные и жесткие, скользнули по ее виску, сминая короткие пряди каре, спускаясь к чувствительной впадине за мочкой уха. Кончик его носа втянул ее запах. — Граф Харрах прилетел из Женевы. Инспекторы федерального ведомства по охране памятников ждут подтверждения провенанса триптиха. Если ты опоздаешь, они заблокируют транспортировку в Базель.

— Никакого Базеля не будет, — ее голос прозвучал сухо. Без надрыва. Как звук сухого листа, раздавленного под подошвой армейского ботинка.

Даниил не шелохнулся. Только его ладонь на ее горле чуть сместилась, пальцы огладили контур ее челюсти, заставляя Веру запрокинуть голову назад, обнажая белизну горла. Его вторая рука опустилась вниз, перехватила край шелковой сорочки, задирая ткань вверх, и легла прямо на ее обнаженное бедро.

Широкие, горячие пальцы впились в мягкую кожу с собственнической силой, вдавливая плоть до белых отметин.

— Вот как? — прошептал он ей в самое ухо, обжигая слуховой проход влажным дыханием. Его бедра подались вперед, вжимаясь в ее ягодицы через тонкую ткань домашних брюк. Вера почувствовала его — тяжелого, наливающегося стальной кровью, готового взять ее прямо здесь, не меняя позы, стоя на холодном мраморе у всех на виду. — И что же изменилось за последние восемь часов, Романова? Ночью ты так не говорила, когда умоляла меня не оставаться на этом самом полу.

Вера резко развернулась в кольце его рук.

Это было движение загнанной рыси — резкое, без замаха, использующее его собственную силу как рычаг.

Металл блеснул в сером утреннем свете.

Острые титанового скальпеля уперлось точно в яремную впадину на горле Даниила.

Один миллиметр. Ровно столько отделяло тонкую, отполированную легированную сталь от сонной артерии.

Даниил замер.

Его светлые, выцветшие глаза цвета балтийского тороса сузились, зрачки превратились в две черные точки. Он даже не моргнул. В его позе не появилось защитного напряжения. Он лишь чуть опустил подбородок, отчего кончик лезвия вошел в эпидермис.

Крошечная, темно-рубиновая бусина крови выступила на смуглой коже. Она набухла, задрожала и медленно поползла вниз, оставляя яркий след на его ключице, стекая к темным волосам на груди.

Вера держала скальпель двумя руками. Ее суставы побелели от чудовищного внутреннего напряжения, но острие не дрожало ни на долю микрона.

— Я нашла медицинскую приписку токсиколога, Даниил, — произнесла она. Каждое слово падало в тишину пентхауса свинцовой дробью. — Ту самую, которую твои адвокаты выкупили за тридцать тысяч евро у начальника бюро судебно-медицинской экспертизы в Петербурге.

На лице Леманна не дрогнул ни один нерв. Он смотрел на нее сверху вниз со всей высоты своего колоссального роста, и в его взгляде медленно разгоралось то самое темное, ядовитое пламя, от которого у нее перехватывало дыхание в первые недели их знакомства.

— Продолжай, — тихо скомандовал он.

— Синтетический барбитурат. Курарепоподобное вещество короткого действия. Полный паралич периферической нервной системы наступает через шесть минут после инъекции, — Вера сделала шаг вперед, вдавливая лезвие глубже. Вторая капля крови сорвалась с его горла и упала на белоснежный воротник распахнутой на ней сорочки, мгновенно расплывшись алым пятном по волокнам шелка. — Человек находится в полном сознании, но не может пошевелить даже веком. Дыхательный центр отключается последним. Мой отец не стрелял в себя, Леманн.

— Вот как? — его голос стал бархатным, вкрадчивым, пугающе спокойным.

— Ты пришел в мастерскую на Фонтанке двадцать четвертого ноября в двадцать три пятнадцать. Твой «Майбах» стоял во втором дворе под аркой. Мартин отключил камеры наружного наблюдения за взятку коменданту. Ты вошел в кабинет. Отец был без сознания или пара-

лизован. Ты достал его наградной «Вальтер» из сейфа, обернул ствол полотенцем, вложил рукоять в его онемевшие пальцы и нажал на спуск его собственным указательным пальцем.

Она замолчала. В огромном зале было слышно, как в панорамное стекло с сухим, шуршащим звуком бьется ледяная крупа начавшейся метели.

— Зачем? — ее голос сорвался, дав петуха на высокой ноте, обнажая бездну выжженного горя. — Зачем этот цирк с долгами? Зачем было приходить через три года ко мне? Зачем было ломать мою жизнь, заставляя меня подписывать подделки, бросать меня на колени в этом зале, спать со мной... если ты мог просто забрать гребаный архив в ту же ночь?!

Даниил медленно, невероятно плавно поднял правую руку.

Вера напряглась, готовая вонзить сталь до упора, перечеркнуть трахею одним движением кисти, как учил ее отец на уроках препарации анатомических слепков.

Но Леманн не попытался выбить оружие.

Его широкая ладонь накрыла ее сжатые на рукояти скальпеля пальцы. Медленно. Бережно. С той сокрушительной, неумолимой силой, против которой у нее не было физического сопротивления. Он сжал ее кулак в своей руке и сам — медленно, с тягучим нажимом — вдавил скальпель в собственную шею еще глубже.

Сталь рассекла фасцию. Кровь хлынула густой струей, заливая его ключицу, пачкая пальцы Веры, горячая, пахнущая солью и сырым железом.

— Режь, — прохрипел он ей в лицо.

Его зрачки затопили серую радужку, превратив глаза в два бездонных колодца чистой, незамутненной тьмы. В этой тьме не было раскаяния. Там было торжество.

— Давай, Романова! До сонной артерии! Перережь мне горло! Отомсти за своего святого папочку! Докажи, что ты дочь Андрея Романова, а не моя шлюха!

— Замолчи... — всхлипнула она, пытаясь выдернуть руку, но он держал ее намертво, превращая ее оружие в инструмент собственного самоистязания.

— Почему ты не давишь? — его лицо приблизилось к ее лицу настолько, что их ресницы почти соприкасались. Его горячая кровь брызгала ей на щеки, смешиваясь со слезами, которые она больше не могла удержать. — Рука дрожит? Технологический сбой, девочка? Ты же эксперт! Ты же реставратор высшей категории! Очисти этот холст от грязи! Убей меня!

— Ты чудовище...

— Я чудовище, которое спасло тебя от выгребной ямы! — прорычал он, и в его голосе впервые за девять месяцев прорвалась первобытная, нечеловеческая ярость. — Твой отец продал тебя мне за две недели до того, как сдохнуть! Он знал формулу этого барбитурата лучше любого токсиколога Европы — он сам синтезировал его в подвале Академии в девяностых! Он сам вколол себе эту дрянь в вену на бедре, потому что метастазы сожрали его внутренности, а боли не снимал даже медицинский героин!

Вера замерла. Мир вокруг нее качнулся.

— Нет...

— Он позвонил мне в одиннадцать вечера, — Даниил не ослаблял хватку, кровь толчками стекала по его мускулистой груди, пачкая резинку хлопковых брюк. — Он сказал: «Леманн, я ухожу сегодня. Но Штейн знает про архив. Через сорок восемь часов они будут здесь. Они вывернут мастерскую наизнанку. Они заберут Веру. Они сделают из нее то, что делали с сотнями других экспертов — посадят на иглу и заставят подписывать фальшак в подвалах Будапешта». Он умолял меня, Вера! Он стоял на коленях, рыдал в телефонную трубку, захлебываясь собственной рвотой! Он сказал: «Приди и нажми на спуск. Сделай так, чтобы полиция сочла это суицидом из-за долгов. Забери все мои векселя. Обанкроти мою память. И забери мою дочь. Сломай ее, Леманн. Выбей из нее эту романовскую святость. Сделай ее волчицей, иначе волки сожрут ее живьем!»

Слова Даниила врезались в ее сознание, как разрывные пули. Каждая фраза сдираала слой за слоем с ее тридцатилетней жизни, оставляя кровоточащее, обнаженное мясо правды.

— Ты врешь... Ты говоришь это, чтобы спасти свою шкуру...

— Мне плевать на мою шкуру! — он дернул ее руку на себя, сталь полоснула по мышце шеи, вызвав у него глухой, гортанный стон экстаза. — Если бы я хотел спастись, я бы свернул тебе шею еще в Петербурге, когда ты посмела открыть рот в моей машине! Я вырастил тебя, Вера. Я дал тебе зубы. Я вложил в твои руки власть над всем этим чертовым европейским сбродом! А теперь ты стоишь передо мной со скальпелем и плачешь, как институтка, потому что боишься признать правду!

Он наклонился еще ближе. Его губы, липкие от крови, коснулись ее губ — жестко, с мучительной, невыносимой жаждой.

— Я нужен тебе, Романова. Тебе нужен этот монстр. Ты течешь от каждого моего прикосновения, потому что только рядом со мной ты чувствуешь себя живой. Ты не убьешь меня. Потому что, если я сдохну прямо сейчас, ты останешься одна в этой стерильной ледяной пустоте. Без меня ты — просто тень в чужой картинной раме.

Вера смотрела в его расширенные зрачки.

В них отражалось ее собственное лицо: искаженное судорогой боли, залитое его кровью, с потемневшими, безумными глазами женщины, которая за девять месяцев прошла все круги рукотворного ада и добровольно осталась в нем жить.

Она знала, что он прав.

В этом была самая страшная, чудовищная насмешка судьбы. Она могла перерезать ему горло прямо сейчас. Могла смыть кровь в душе, забрать из сейфа флеш-карты с миллиардными счетами синдиката, взять паспорт на имя Елены Вайс и улететь вечерним рейсом в Буэнос-Айрес. Но там, под южным солнцем, не было воздуха. Воздух был только здесь — в этой прозекторской, пропитанной запахом его пота, его крови и его ненасытного, больного обладания.

Пальцы Веры разжались.

Титановый скальпель со звоном ударился о край мраморного пола и отлетел в сторону, оставив на полированном камне темную полосу.

Даниил не отстранился.

Напротив, из его груди вырвался хриплый, победный рык раненого хищника. Его окровавленные руки взметнулись к ее лицу, пальцы впились в ее волосы, натягивая корни с безжалостной силой, запрокидывая ее голову назад.

— Моя, — прохрипел он ей в рот. — Навсегда моя.

Он впился в ее губы поцелуем, в котором не было ничего человеческого. Это было пожирание. Его язык, соленный от крови, вторгся в ее рот, ломая остатки сопротивления, сбивая дыхание, превращая ее стон в сдавленный хрип.

В гостиной за их спинами ожил телефон защищенной спутниковой связи.

Резкий, металлический зуммер разорвал тишину пентхауса: федеральная комиссия «Доротеума» требовала эксперта Романову на трибуну. Начались торги, на кону которых стояло всё их общее безумие.

Даниил оторвался от ее губ всего на миллиметр. Кровь с его шеи стекала на ее обнаженную грудь, пачкая распахнутый шелк рубашки. Его глаза горели черным, торжествующим огнем.

— Время вышло, Романова, — прошептал он, и его ладонь грубо, властно скользнула между ее ног, заставляя ее вскрикнуть от вспыхнувшего внизу живота пожара. — Иди в душ. Надень черное платье от Givenchy. И спустись со мной в ад. Мы покажем этой Вене, как умирают боги.

ЧАСТЬ I. АНАТОМИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

ГЛАВА 1. ПРОБА НА ПОДЛИННОСТЬ

«В ранних стадиях компульсивного вторжения агрессор методично разрушает пространственные маркеры автономии жертвы. Безопасная среда — мастерская, спальня, рабочий кабинет — лишается функции психологического убежища. Путем систематического обесценивания личных границ и навязывания постоянного тактильного присутствия агрессор формирует состояние "диффузной тревоги", при котором субъект теряет способность дифференцировать внешнюю угрозу от внутренних соматических импульсов».

— Г. Аммон, «Динамическая психиатрия и патология объектных связей» (Берлин — Вена, 1978)

Октябрь в Петербурге не умирал, он гнил заживо.

Свинцовая вода Фонтанки волочила мимо гранитного парапета обрывки бурых водорослей, маслянистую радужную пленку от прогулочных катеров и размокшие коробки из-под дешевой пиццы. Морось не падала с неба каплями. Она висела в неподвижном воздухе мелкой водяной пылью, оседала на шерсти пальто, проникала под воротник и превращала дыхание в липкую серую взвесь.

Мастерская на третьем этаже бывшего доходного дома купца Яковлева пахла так, как пахнут все места, где люди пытаются обмануть время: смесью очищенного пихтового скипидара, даммарной смолы, пыли столетней штукатурки и застарелого человеческого пота.

Здесь всегда было холодно. Чугунные радиаторы времен позднего модерна, заросшие внутри ржавой накипью, еле теплились. Огромные полуциркульные окна с дубовыми рамами разошлись за век эксплуатации, и в щели между фрамугами с улицы непрерывно тянуло промозглой сыростью.

Вера Романова сидела за рабочим столом, скорчившись над увеличительной бинокулярной оптикой.

На ней был старый, вытянувшийся на локтях свитер из грубой шерсти цвета древесного угля. Она не снимала его в мастерской с середины сентября, когда ударили первые ночные заморозки. Пальцы без перчаток затекли, подушечки указательного и большого пальцев онемели от долгого держания черенка колонковой кисти номер ноль.

Перед ней на наклонном реставрационном мольберте покоилась дубовая доска размером сорок на пятьдесят сантиметров. Голландец. Середина семнадцатого века. Натюрморт с устрицами, оловянным кувшином и надрезанным лимоном, приписываемый мастерской Питера Класа.

Вернее, то, что от него осталось после полутора веков кошунственных реставраций и одного преступления.

Вера осторожно коснулась ватным тампоном на тонкой бамбуковой шпалке поверхности красочного слоя. Тампон был смочен в «тройнике» — смеси изопропилового спирта, пинена и касторового масла. Растворитель зашипел на микроскопическом уровне, вступая в реакцию со старым, пожелтевшим до цвета гречишного меда мастичным лаком.

Лак сходил тяжело, маслянистыми бурыми чешуйками.

Под бинокуляром мир превращался в лунный ландшафт: сеть кракелюра ветвилась тонкими черными каньонами, в глубине которых тускло мерцал левкас. Но в правом нижнем углу, под оловянной тарелкой, кракелюр вел себя противоестественно.

Вместо правильной радиальной сетки, возникающей от естественного высыхания льняного масла на дубе за триста лет, микротрещины здесь имели тупые, рваные края. Словно

лак сушили принудительно, строительным феном или под мощной кварцевой лампой, а затем наносили сеть царапин тончайшей стальной иглой.

Вера медленно отложила шпатель на фарфоровый поднос. Ее плечи свело тупой, ноющей судорогой.

Она знала этот почерк.

Она узнала бы его из тысячи других, даже если бы ослепла и проводила по холсту кончиками пальцев. Термическая усадка с добавлением микрокапель фенола. Способ, который позволял состарить новодел на триста лет за сорок восемь часов.

Фирменный рецепт Андрея Романова.

Три года назад этот «Питер Клас» висел в этой же мастерской. Тогда отец еще был жив — сухой, желчный старик с трясущимися руками и вечно воспаленными от увеличительных стекол глазами. Он запирался в лабораторной камере, колол себе обезболивающее прямо через шерстяные брюки и варил вонючие составы на плитке, от которых у Веры сутками першило в горле.

«Искусство — это не вдохновение, Вера, — говорил он, не оборачиваясь, перемешивая стеклянной палочкой мутную жидкость в колбе. — Искусство — это химия и психология. Люди платят миллионы не за мазки мастера. Они платят за иллюзию того, что могут прикоснуться к вечности. А вечность — продажная девка, которую можно собрать из пигментов Kremer и старой мебели с Сенного рынка».

Она ненавидела эти слова. Она считала их старческим цинизмом, вызванным нищетой и неизлечимой болезнью. Она поклялась себе, что после его смерти отмоем имя Романовых от этой липкой грязи. Она восстановит мастерскую. Будет брать только официальные заказы от Эрмитажа и Русского музея. Будет жить на копейки, но с чистыми руками.

Какая наивная, слепая дура.

Вера подняла глаза на противоположную стену. Там, между двумя высокими стеллажами с монографиями по нидерландскому натюрморту, чернел квадрат советского сейфа завода «Сейфтрест» тридцать восьмого года выпуска.

Тяжелая бронированная дверь была заперта. Но код она помнила наизусть: дата ее шестнадцатилетия.

В этом сейфе на нижней полке лежала папка из серого картона. В ней — двадцать две долговые расписки на имя частных микрокредитных организаций и векселя фонда «Аурум Крюкс» на общую сумму девятьсот тридцать тысяч евро. Долги, оставленные ей отцом. Долги, проценты по которым капали каждую неделю, превращая ее жизнь в бесконечный бег по кругу между копеечными реставрациями провинциальных икон и звонками мужчин с хриплыми, не терпящими возражений голосами.

Она жила в этой мастерской как в склепе. Спала на узком продавленном диване за ширмой, питалась растворимой овсянкой и крепким чаем, мылась в крошечном совмещенном санузле с текущим бачком и боялась каждого шороха на лестнице.

Внизу, в парадном подъезде, хлопнула тяжелая входная дверь.

Звук был глухим, но в пустом колодце старого дома он отозвался гулким, вибрирующим эхом, докатившимся до третьего этажа.

Вера замерла. Кисть в ее руке осталась неподвижной в миллиметре от красочного слоя.

Обычно соседи — глухая старуха со второго этажа и спивающийся художник-оформитель из мансарды — поднимались тяжело, волоча ноги, шаркая стоптанными подошвами по истертым ступеням путиловского известняка.

Эти шаги были другими.

Тяжелые. Размеренные. Упругие. Так поднимается крупный, физически тренированный хищник, знающий точный угол наклона каждой ступени. Человек, которому не нужно экономить дыхание.

Один пролет. Второй.

Шаги затихли прямо перед ее дверью.

Вера положила кисть на фарфоровую палитру. Сердце сделало короткий, панический кульбит и заколотилось где-то в горле, перекрывая доступ воздуху. Коллекторы? Люди Штейна? Приставы?

В замочной скважине антикварного сувальдного замка послышался металлический скрежет.

Не грубый треск отмычки, а мягкий, маслянистый поворот оригинального ригеля. Замок шелкнул дважды.

Второй ключ. Тот самый, который отец перед смертью якобы утопил в канале Грибоедова.

Тяжелая дубовая створка, обитая рваным коричневым дерматином, медленно подалась внутрь.

В мастерскую хлынул сырой, промерзший воздух парадной лестницы, пахнувший кошачьей мочой, сырой штукатуркой и дорогим мужским парфюмом — горьким, морозным, с отчетливой нотой влажного ветивера и оружейной стали.

Вера медленно сняла биноклярную оптику, оставив ее висеть на шее на шнурке, и поднялась из-за стола.

Она встала так, чтобы массивный мольберт оставался между ней и дверным проемом — жалкая, символическая баррикада из сухого дерева и чужой фальшивки.

В проеме стоял Даниил Леманн.

В полумраке коридора он казался неестественно, пугающе огромным. Со своими метр девяносто пять он почти задевал головой притолоку старинной двери. Пальто из тяжелого темно-серого кашемира с широким глухим воротником делало линию его плеч колоссальной, подчеркивая хищный, давящий разворот торса. Он был засыпан мелкой петербургской моросью: капли воды мерцали на ткани пальто, на темных, коротко стриженных висках, на длинных ресницах.

Он не вошел сразу. Он замер на пороге, окинув мастерскую медленным, сканирующим взглядом.

Его светлые, выцветшие глаза цвета балтийского льда зафиксировали всё за три секунды: покосившиеся стеллажи, трещины на потолке, узкий продавленный диван за ширмой, фарфоровую чашку с засохшим чайным ободком на подоконнике и, наконец, саму Веру.

Взгляд задержался на ее фигуре. Оценил мешковатый серый свитер, бледность заострившегося лица, темные круги под глазами, тонкие, побелевшие от холода пальцы, судорожно вцепившиеся в край мольберта.

— Вы нарушаете технологический регламент, Романова.

Голос был тихим. В нем не было металла коллекторов или показной грубости бандитов. Это был чистый, глубокий, бархатный баритон с безупречной петербургской дикцией — голос человека, который привык, что в радиусе пятидесяти метров от него замолкают все, как только он размыкает губы.

Даниил шагнул через порог.

Пол под его ногами даже не скрипнул. Он двигался с пугающей для своих габаритов мягкостью, словно крупная кошка на охоте. Закрыв за собой дверь, повернул защелку замка изнутри и небрежным движением сбросил тяжелое пальто на старый кованый сундук у входа.

Под пальто оказался графитовый костюм-тройка ручной работы из тончайшей шерсти Super 180s. Безупречный крой не оставлял иллюзий: это тело строилось годами изнурительного физического труда. Мощная, широкая грудная клетка, рельеф широчайших мышц, стянутых жилетом, узкая талия и длинные, сухие ноги гребца. Он заполнил собой всё пространство мастерской, вытеснив из нее воздух, свет и остатки тепла.

— Дверь была заперта, — ровно произнесла Вера.

Она гордилась тем, как прозвучал ее голос. Сухо. Бесстрастно. Ни единого намека на то, как внутри все сжималось в ледяной комок от животного, первобытного страха. Разница в росте была унижительной: она едва доставала ему до середины подбородка со своими ста шестьдесятю шестью сантиметрами.

— Старые петли легко поддаются, если знать угол давления, — Даниил подошел ближе. Расстояние между ними сократилось до трех шагов. От него пахло теплом мощного тела, только что вошедшего с холода, чистым хлопком сорочки и табаком. — К тому же, у меня нет привычки мерзнуть на чужих парадных лестницах. Особенно когда я оплачиваю каждый квадратный сантиметр этой сырости.

Он обошел мольберт, полностью игнорируя ее попытку отгородиться.

Остановился у края рабочего стола, нависая над ней. Вера не отступила. Сделать шаг назад сейчас значило признать свое поражение, показать, что его физическое присутствие ломает ее оборону.

Даниил опустил взгляд на доску под лампой.

— Питер Клас? — в его голосе прозвучала едва заметная, ядовитая усмешка. — Твой покойный родитель обожал голландцев. Меньше деталей, плотный левкас, легко имитировать кракелюр термоударом. Ты тратишь время на копеечную подделку, Вера.

— Это частный заказ, господин Леманн. И я не приглашала вас в свой дом.

— Это не дом, Романова. Это залоговое имущество фонда «Аурум Крюкс», — он медленно положил ладонь на дубовую столешницу. Пальцы — длинные, с широкими плоскими ногтями и тяжелыми суставами — легли в сантиметре от ее фарфоровой палитры. — А я с прошлого четверга являюсь единственным держателем закладных листов на это помещение. Включая архив твоего отца и всё, что находится внутри этих стен.

У Веры перехватило дыхание.

— Штейн переуступил векселя?..

— Штейн — трусливая свинья, которая сливает активы при первом запахе полицейской проверки, — Даниил наклонился чуть ниже. Теперь его лицо было на уровне ее глаз.

Вблизи его кожа казалась выдубленной ветром и хлорированной водой бассейнов: плотная, матовая, без единого изъяна, с четко очерченными скулами и жесткой линией подбородка. Светлые глаза сканировали ее лицо с анатомической дотошностью. Он смотрел на нее так, словно препарировал: видел пульсирующую жилку на виске, бледность носогубного треугольника, пересохшие губы, которые она непроизвольно облизнула.

— Мне надоело ждать официальных отчетов через твоих нищих посредников, — продолжил он, и его голос опустился до низкого шепота, вибрирующего у нее под ключицами. — Семьдесят два часа назад тебе доставили пигментные пробы по венскому полотну. Портрет круга Сальвиати. Ты должна была внести спектрограмму в единый реестр. Где заключение?

— Экспертиза не завершена.

— Ложь.

Даниил не повысил голоса, но это короткое слово хлестнуло ее по лицу, как мокрое полотенце.

— Грунт не соответствует шестнадцатому веку, — упрямо отчеканила она, глядя ему прямо в переносицу. — В левкасе обнаружены следы сульфата бария. Это девятнадцатый век, Леманн. Поздняя мистификация. Я не подпишу сертификат соответствия.

Даниил медленно, с тягучим наслаждением покачал головой:

— Доска была перегрунтована при реставрации в Вене в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году. Ты знала это в первую же минуту, как поднесла зонд к краске. Ты ищешь повод сорвать сделку. Почему, Вера? Боишься запачкать белые перчатки?

— Я берегу репутацию своего имени.

Леманн тихо рассмеялся сухим, каркающим смехом, от которого по спине Веры пробежал озноб.

— Репутацию? Какую репутацию, девочка? Фамилию фальсификатора, который тридцать лет снабжал европейские ломбарды крашеной фанерой?

Он сунул руку во внутренний карман графитового пиджака.

Движение было скупым, выверенным, лишенным суеты. Вера инстинктивно подобралась, ее мышцы натянулись, как тетива. Она ждала оружия, ордера на выселение, долговых расписок.

Даниил достал плотный конверт из кремовой бумаги верже.

Бросил его на стол. Конверт упал на дубовые доски без звука, прямо на раскрытую палитру, испачкав край масляным пятном костяной черни.

Сургучная печать с монограммой дома Романовых. Лев, сжимающий в лапах реставрационный резец.

Вера почувствовала, как комната вокруг нее теряет резкость.

Это было заключение трехлетней давности.

Та самая бумага, которую она подписала в этой самой комнате ночью двадцать пятого ноября. За окном еще стояла машина скорой помощи с включенными синими проблесковыми маячками, эксперты-криминалисты упаковывали в пластиковые мешки окровавленную обивку отцовского дивана, а в коридоре стояли двое подручных Штейна с переломанными носами и кастетами в карманах пальто.

Они сказали ей тогда: «Либо ты подписываешь экспертизу на этого ван Мириса, либо мы вывозим архив твоего бати в лес прямо сейчас, а тебя оставляем отрабатывать долги в сауне на Лиговском».

Она подписала. Дрожащими, ледяными пальцами, роняя слезы на сургуч.

— «Атрибуция подтверждена. Частная коллекция графов Вальдштейн. Подлинник чинквеченто», — процитировал Даниил по памяти, не глядя на конверт.

Он наклонился вперед, опершись кулаками о стол по обе стороны от нее, окончательно запирая Веру в капсулу из своего присутствия. Ткань его белоснежной сорочки коснулась рукава ее свитера. Она физически ощущала жар, исходивший от его груди, слышала мерный, спокойный звук его дыхания.

— Фонд «Норд-Арт» купил эту фальшивку за восемьсот тысяч евро. Деньги ушли на закрытие отцовских карточных счетов в Минске. Твоя подпись стоит под каждым пунктом, Вера. Статья сто пятьдесят девятая, часть четвертая. Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. От семи до двенадцати лет в колонии общего режима.

— Это было вымогательство... Меня заставили...

— Суду плевать на твои слезы, Романова. У прокуратуры есть оригиналы выписок со счетов твоего отца и этот сертификат. Один мой звонок дежурному следователю главка, и через сорок минут тебя выведут отсюда в наручниках под прицелом камер криминальной хроники.

Даниил протянул руку.

Его пальцы коснулись ее лица.

Это не было ударом. Это было хуже: медленное, абсолютно уверенное в своей безнаказанности вторжение.

Широкая, жесткая ладонь легла ей на челюсть снизу. Большой палец с тяжелым, давящим усилием уперся в подбородок, заставляя Веру запрокинуть голову назад. Ее хрупкая шея натянулась, обнажая бледную кожу с синеватыми прожилками вен.

Вера попыталась отшатнуться, дернула плечом, но его пальцы мгновенно сомкнулись на ее костях, как стальные губки тисков. Не причиняя острой боли, но исключая любую возможность движения. Разница в тридцать сантиметров роста и сорок килограммов сухой мускулатуры превращала ее сопротивление в жалкую пантомиму.

— Убери... руки... — выдохнула она сквозь зубы.

Даниил не отпустил. Напротив, подушечка его большого пальца медленно, с тягучим, гипнотическим нажимом скользнула по ее нижней губе, вдавливая ее в зубы, заставляя губу приоткрыться. Затем палец очертил контур подбородка, спустился по гладкой коже шеи и остановился точно в яремной впадине, прямо над воротником растянутого свитера.

Пульс Веры колотился под его пальцем как пойманная птица. Сто сорок ударов. Бешеный, сбитый ритм.

Даниил смотрел на нее сверху вниз. В его выцветших глазах не было садистского наслаждения. Там царил холодный, исследовательский интерес патологоанатома, нащупавшего скрытую патологию в живой ткани.

— Завтра в двадцать ноль-ноль закрытый прием в особняке Половцова на Большой Морской, — его голос стал еще тише, превратившись в вибрацию, проникающую сквозь кости черепа. — Там будут австрийские кураторы. Представители венского музея Леопольда. Ты наденешь платье, которое доставят утром. Никаких твоих монашеских свитеров. Ты войдешь в зал под руку со мной.

— Я не пойду.

Даниил чуть сжал пальцы на ее шее. Ровно настолько, чтобы перекрыть приток воздуха к гортани на две секунды.

Вера судорожно задохнулась, ее глаза расширились от внезапного приступа слепой животной паники. Тело предательски обмякло, колени подогнулись, и она удержалась на ногах только за счет его железной хватки.

— Ты пойдешь, Вера, — прошептал он ей прямо в губы, обжигая ее холодное лицо своим горячим, влажным дыханием. — Ты улыбнешься доктору Вайсбергу. Ты подтвердишь провенанс полотна Сальвиати. Ты назовешь формуляр реставрации шестьдесят четвертого года. А потом... потом мы поедем ко мне.

Он отпустил ее внезапно.

Словно разомкнул контакты высоковольтной цепи.

Вера покачнулась, судорожно схватившись руками за край дубового стола, чтобы не рухнуть на пол. Острый край столешницы впился в ладони, возвращая ее в реальность. Воздух со свистом хлынул в спазмированные легкие, она закашлялась, низко опустив голову, глядя на кремовый конверт, испачканный черной краской.

Даниил уже надевал пальто.

Его движения были спокойными, выверенными, будничными. Он поправил манжеты сорочки, на которых тускло блеснули платиновые запонки с монограммой «DL», застегнул пуговицы из рога буйвола и подошел к двери.

Остановился у порога, взявшись за латунную ручку.

— Девять утра, Вера. Курьер привезет коробки. Если ты попытаешься выйти из дома до этого времени — Мартин вернет тебя назад за волосы. Не заставляй меня тратить время на насилие. Оно стоит слишком дорого.

Дверь закрылась с мягким, издевательски аккуратным щелчком.

Вера осталась одна посреди ледяной мастерской.

На ее шее, там, где лежали его пальцы, кожа горела так, словно к ней прижали раскаленное железное тавро. А внизу живота — вопреки всякой логике, вопреки ненависти, страху и тошнотворному стыду — медленно, ядовито пульсировала первая волна темного, неосознанного возбуждения, напугавшая ее больше, чем перспектива тюремной камеры.

ГЛАВА 2. РИТУАЛ ОБЛАЧЕНИЯ

«В ситуации принудительного изменения внешнего габитуса — навязывании чужого эстетического канона, лишении привычных тактильных барьеров — защитные механизмы эго претерпевают ускоренную эрозию. Одежда перестает выполнять функцию психологического панциря; обнажение или подчеркнутая уязвимость телесной поверхности индуцируют феномен соматического конформизма: субъект начинает телесно проживать навязанную ему роль задолго до вербального согласия».

— Т. Линдквист, «Анатомия принуждения: динамика виктимизации в закрытых системах» (Стокгольм, 1994)

Ночь не принесла тишины, только обострила акустику дома купца Яковлева.

Старые перекрытия остывали, потрескивая сухой дранкой под слоем вековой извести. Где-то в глубине фанового стояка с мерным, истязающим ритмом капала вода: *кап...* пауза в четыре секунды... *кап*. Вера сидела на краю продавленного дивана, сжав колени и обхватив голени ледяными ладонями.

Она не зажигала верхний свет. В мастерской горела только настольная лампа на струбцине. Узкий конус мутно-желтого света падал на дубовую столешницу, высвечивая кремовый прямоугольник конверта верже и темное масляное пятно костяной черни на его сургучном крае.

Каждые сорок минут к парадному подъезду со стороны Фонтанки подъезжала машина.

Вера вздрагивала от каждого шелеста шин по мокрому асфальту, вытягивалась в струну, вслушиваясь в темноту за дверью. Но это были чужие автомобили: запоздалое такси, фургон доставки или разворачивающийся во дворе универсал. Черный «Майбах» Леманна не возвращался. В этом не было нужды. Даниил не караулил ее лично, он оставил в комнате нечто куда более надежное, чем дюжина вооруженных охранников.

Он оставил ощущение нехватки воздуха.

Вера медленно подняла пальцы к горлу. Кожа под нижней челюстью все еще пульсировала. В зеркале маленького трюмо в прихожей она увидела эту отметину: четыре бледных полумесяца на правой стороне шеи и багровое пятно от его большого пальца точно над яремной впадиной. След чужого тела. Метка собственности, оставленная с той же небрежной точностью, с какой на полотна ставится сургучный оттиск таможни.

Самым страшным было не насилие. Самым страшным была реакция ее собственного тела, которую ее аналитический, вымуштрованный годами академической работы ум не мог ни оправдать, ни подавить.

Когда его широкая ладонь вдавила ее подбородок вверх, заставляя задыхаться, в глубине живота — там, где три года после выстрела отца царила глухая, вымороженная анестезия — вспыхнула короткая, обжигающая волна. Это не было страхом. Это был чистый, первобытный адреналиновый ток, заставивший соски затвердеть под колючей шерстью свитера, а дыхание сбиться на влажный хрип.

Она ненавидела его за эту власть. Но еще больше она презирала себя за то, что ее тело отозвалось на принуждение с безоговорочной, почти животной готовностью.

Около четырех утра она встала, подошла к сейфу, повернула диск лимба — три влево, семнадцать вправо, двадцать пять влево.

Тяжелая бронированная дверь отошла с маслянистым щелчком. Вера достала серую папку с отцовскими долгами. Пересчитала листы. Двадцать два векселя. Подписи Андрея Романова размашистые, нервные, с длинным нижним росчерком, выдававшим тремор чело века, загнанного в угол болезнью и долгами. Теперь все эти бумаги принадлежали Леманну.

Она перевернула последнюю страницу. Там лежал листок из блокнота, исписанный рукой отца за неделю до гибели:

«Вера. Если на пороге появится Даниил — не пытайся переиграть его на его поле. Он не коллекционер. Он оценщик души. У него нет слабостей, кроме одной: он верит только в то, что может сломать своими руками».

Тогда она не поняла этой записки, сочтя ее бредом угасающего рассудка. Теперь каждое слово отца звенело в ее ушах погребальным колоколом.

Вера захлопнула дверцу сейфа, вернулась к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. На востоке, за ржавыми крышами Литейной части, небо медленно наливалось цветом сырой говяжьей печени.

Курьер позвонил в дверь ровно в девять ноль-ноль.

Без опоздания на секунду. Словно стоял на лестничной площадке последние двадцать минут, глядя на секундную стрелку хронометра.

Вера открыла, не спрашивая «кто там».

На пороге стоял молодой человек в графитовой куртке без знаков отличия, в тонких кожаных перчатках. Взгляд пустой, вымуштрованный, устремленный строго над ее плечом. В руках он держал длинный кофр из черного матового нейлона с тисненой эмблемой миланского ателье и плоскую картонную коробку, перевязанную темно-серым шелковым шнуром.

— От Даниила Андреевича, — голос курьера был лишен интонаций, как у автоответчика. — Приказано передать лично в руки.

Он не попросил расписаться в накладной. Положил коробку на старый сундук, повесил кофр на латунный крюк вешалки, коротко наклонил голову и развернулся к ступеням лестницы. Через пять секунд звук его шагов растворился внизу.

Вера заперла замок.

Она стояла посреди прихожей, глядя на черный нейлон кофра. Застежка-молния мерцала темным никелем. В мастерской пахло растворителем и холодной известью, и этот запах вступил в нелепый, вызывающий диссонанс с тонким ароматом дорогой кожи и картона, исходившим от доставленных вещей.

Она подошла к кофру и взялась за бегунок.

Звук расходящихся зубьев молнии прозвучал в пустой комнате оглушительно резко, словно вскрывали хирургический пакет перед ампутацией.

Шелк выскользнул в ее ладони, как прохладная проточная вода.

Это не было просто вечерним нарядом. Это было орудие психологического взлома, спроектированное с математической безжалостностью.

Ткань цвета жидкой ртути — сложный, холодный оттенок темно-серого свинца, который при косом электрическом свете вспыхивал стальным отливом. Плотный, тяжелый шелковый креп падал в пол тяжелыми архитектурными складками. Фасад платья выглядел вызывающе целомудренным: глухой воротник-стойка, застегивающийся на три микроскопических крючка под самой челюстью, узкие, до запястий, рукава с акцентированной линией плеч. Никакого декольте. Ни малейшего намека на разрез на подоле.

Но когда Вера развернула вещь, у нее перехватило дыхание.

Спины у платья не было вовсе.

Вырез начинался от линии воротника и низвергался вниз, обнажая лопатки, изгиб позвоночника, талию и заканчиваясь на два сантиметра ниже границы поясных ямочек, у самого начала межъягодичной складки. Ткань держалась исключительно за счет натяжения боковых швов и двух тончайших перекрещенных шелковых жгутов толщиной со струну альты.

Под такой крой невозможно было надеть даже микроскопическое бесшовное белье. Любая бретель, любая силиконовая накладка разрушила бы геометрию пустоты. Платье требовало абсолютной наготы под тяжелым, холодным шелком. Даниил не просто выбирал фасон,

он раздевал ее заранее, лишая права на внутреннее укрытие, превращая ее тело в витрину, скрытую тонкой пленкой материи.

Вера открыла коробку.

На папиросной бумаге лежали остроносые туфли на двенадцатисантиметровой тончайшей шпильке из полированной кожи цвета вороненой стали. Колодка была экстремально крутой. Стопа в них должна была изогнуться почти вертикально, напрягая икроножные мышцы и меняя весь баланс тела, делая походку неустойчивой, зависимой от опоры.

Рядом, в углублении бархатного ложемент, лежал предмет, не похожий на ювелирное украшение.

Широкий серебряный браслет. Тяжелая литая пластина шириной в четыре пальца, без замка и шарниров — жесткая скоба из черного серебра девятьсот двадцать пятой пробы с полированными внутренними гранями. Металл был массивным, холодным и весил не менее двухсот граммов.

Кандалы. Изящные, баснословно дорогие кандалы для запястья рабыни.

Вера провела пальцем по гладкой внутренней поверхности серебра. На металле не было гравировки — только клеймо мастера. Она сжала зубы так, что заболели скулы.

«Он думает, что я сломаюсь на вещах. Он думает, что тряпки могут сделать меня его вещью».

Она пошла в крошечную ванную.

Включила воду — ледяную, обжигающую, чтобы содрать с кожи сонливость и липкий ночной страх. Мылилась жестким хозяйственным мылом, скребла шею губкой до багровых полос, пытаясь стереть следы его пальцев. Но синяки только ярче проступали на распаренной, тонкой коже.

В девятнадцать пятнадцать начался ритуал.

Она стояла перед старым зеркалом в темной ореховой раме. Волосы темные, густые, обычно небрежно стянутые резинкой на затылке, она выпрямила утюжком и собрала в тугую, геометрически выверенный низкий пучок. Ни одной выбившейся пряди. Открытый лоб, точечные скулы, обнаженная линия шеи. На лицо лег легкий слой матирующей пудры, скрывший синеву под глазами, и матовая помада цвета раздавленной брусники — темная, сухая, похожая на запекшуюся кровь.

Она шагнула в платье.

Шелк скользнул по обнаженным бедрам, ягодицам и груди с ледящей, электрической гладкостью. Ткань мгновенно приняла тепло ее тела, но ощущение наготы под этой броней стало только острее. Каждый шаг, каждое движение отзывалось трением тяжелого шелка о чувствительную кожу сосков, заставляя их сжиматься в тугие, болезненные бусины, четко проступающие под плотной материей фасада.

Вера застегнула крючки на воротнике. Пальцы едва слушались.

Воротник сдавил горло, как жесткий медицинский бандаж, фиксируя подбородок. Сзади холодный воздух мастерской лизнул обнаженную спину от шеи до крестца. Она чувствовала себя голой. Беззащитной. Раздетой до костей посреди этой сырой комнаты.

Она надела туфли. Рост увеличился на двенадцать сантиметров, спина непроизвольно выгнулась, центр тяжести сместился вперед.

Последним был браслет.

Вера с усилием протиснула узкую кисть сквозь разрез серебряной скобы. Металл с глухим щелчком сомкнулся на ее правом запястье, охватив лучевую кость плотным, не спадающим кольцом. Серебро было тяжелым. Оно оттягивало руку вниз, напоминая о себе при каждом движении пальцев.

Внизу, под окнами мастерской, послышался низкий, утробный рокот двенадцатицилиндрового мотора.

«Майбах» стоял во втором дворе-колодце, перекрыв выезд в арку.

Черный лакированный кузов отражал тусклый свет единственного фонаря над помойкой. Дождь барабанил по бронированной крыше глухо, как по крышке дубового гроба.

Водитель широкоплечий детина в темном костюме и кожаных перчатках шагнул навстречу Вере, когда она вышла из парадной, раскрывая над ее головой огромный черный зонт. Он не смотрел на нее. Только придержал тяжелую дверь заднего сидения, пахнущего озоном, теплом и кожей коньячного оттенка.

Вера села в машину, подобрав подол платья.

Шпильки соскользнули по глубокому ворсу шерстяного коврика. Дверь закрылась с мягким пневматическим присосом, отсекая все звуки внешнего мира: шум дождя, плеск воды в Фонтанке, гудки далеких машин. В салоне воцарилась акустическая капсула — герметичная, стерильная, изолированная от реальности.

Даниил сидел слева от нее.

Он не повернул головы, когда она села. Он смотрел в окно, держа в правой руке тонкий хрустальный бокал с бесцветной жидкостью и двумя кубиками льда.

На нем был классический смокинг из черной шерсти баратея с шелковыми шалевыми лацканами. Белоснежная сорочка с потайной планкой сидела на его широком торсе с идеальным, архитектурным натяжением. Галстук-бабочка из черного матового шелка был завязан вручную. Крупный, строгий узел подчеркивал мощную линию челюсти и хищный изгиб шеи.

Он казался монументом, высеченным из антрацита.

Разница в габаритах внутри замкнутого пространства автомобиля ощущалась физически удушающей. Его правое плечо находилось в десяти сантиметрах от ее левого плеча, и Вера кожей чувствовала исходящий от него тяжелый, сухой жар.

Машина тронулась с места плавно, без рывка, словно скользила по льду.

— Ты опоздала на две минуты, — произнес он, не глядя на нее. Лед в его бокале едва слышно звякнул о хрусталь.

— Застежки на воротнике требуют времени, — сухо отозвалась Вера, глядя прямо перед собой на экраны мультимедийной системы, встроенные в спинки передних кресел.

Даниил медленно повернул голову.

Его взгляд — светлый, прозрачный, лишенный зрачкового тепла — опустился на ее фигуру. Он окинул ее взглядом с дотошностью аукционного инспектора, принимающего лот первой категории: оценил матовую бледность висков, идеальную геометрию пучка, брусничный оттенок губ. Затем его глаза скользнули вниз, задержавшись на очертаниях сосков, проступающих сквозь ртутный шелк с бесстыдной четкостью.

Он не улыбнулся. Но в глубине его зрачков вспыхнуло то самое тяжелое, темное пламя, которое заставило Веру внутренне сжаться.

— Платье сидит именно так, как я рассчитывал, — произнес он тихим, вибрирующим голосом.

Он поставил бокал в подстаканник и протянул руку.

Его пальцы не коснулись ткани. Он перехватил ее правое запястье — прямо под серебряным браслетом. Его широкая ладонь сомкнулась на ее тонкой кости, большой палец лег на металл скобы, поглаживая черное серебро с медленным, гипнотическим нажимом.

— Браслет тебе идет. Он подчеркивает хрупкость суставов. В шестнадцатом веке такие обручи надевали на наложниц генуэзских дождей, чтобы они помнили вес золота, за которое их купили.

— Вы перепутали век и географию, Леманн, — Вера попыталась выдернуть руку, но его хватка была железной, непоколебимой. — В Генуе шестнадцатого века женщины вашего круга не выходили из закрытых покоев без дуэньи.

— Мы живем в эпоху упрощенных процедур, Романова.

Он не отпустил ее руку. Напротив, потянул ее на себя, сокращая разделявшие их сантиметры, заставляя ее корпус развернуться к нему.

Его вторая рука поднялась и легла ей на спину.

Вера судорожно втянула воздух сквозь зубы.

Горячая, широкая ладонь Даниила опустилась прямо на ее обнаженную кожу между лопатками, там, где вырез платья оставлял тело абсолютно беззащитным. Пальцы его слегка разошлись, накрывая позвоночник. Контраст между холодом шелка, ледяным воздухом кондиционера и раскаленной мужской кожей был обжигающим, почти болезненным.

Его ладонь медленно, с тягучим нажимом двинулась вниз по ее голому позвоночнику.

Один позвонок. Второй. Третий.

Он словно пересчитывал кости ее спины, нащупывая каждую связку, каждый мышечный узел. Вера замерла, боясь шелохнуться. По ее телу, от шеи до кончиков пальцев ног, прокатилась крупная, неудержимая дрожь.

— Не вздрагивай, — прошептал он, наклоняясь так близко, что его дыхание обожгло мочку ее уха. — Ты должна привыкнуть к этой руке. Сегодня вечером я буду держать тебя так постоянно. Все в зале должны видеть, что между этой тканью и твоей кожей нет ничего, кроме моих пальцев.

— Это пошлость, Даниил. Светские круги не прощают дешевой демонстрации владения.

— Светские круги питаются слухами о чужой капитуляции, — его ладонь опустилась еще ниже, достигнув поясничных ямочек, замерла у самого края выреза, едва не касаясь ягодиц. Пальцы чуть сжались, сминая края шелковой ткани. — Они знают, кем был твой отец. Они знают, сколько он задолжал. И они хотят видеть, как ты расплачиваешься по его счетам. Ты дашь им это зрелище.

Машина свернула с набережной Мойки на Большую Морскую и плавно затормозила у парадного подъезда особняка Половцова.

Особняк Половцова горел парадным светом.

Хрустальные многоярусные люстры заливали желтым сиянием арочные окна бельэтажа, отражаясь в мокром граните тротуара. Швейцары в темно-зеленых ливреях с золотым позументом сновали между подъезжающими представительскими седанами, раскрывая огромные зонты, принимая дам в соболиных мантиях и мужчин в строгих смокингах.

Когда дверь «Майбаха» открылась, Даниил вышел первым.

Он встал на мокром камне тротуара, расправил плечи, не обращая внимания на дождь, и протянул Вере руку.

Она вложила свои пальцы в его ладонь. Шпильки коснулись мокрого гранита, и в ту же секунду пальцы Даниила сжались вокруг ее кисти с силой стального зажима. Он не просто помог ей выйти, он выдернул ее из салона одним мощным, плавным движением, притягивая вплотную к своему правому боку.

Швейцар с зонтом едва успел накрыть их от мороси, но Леманн махнул рукой, отсылая прислугу прочь.

— Иди, — скомандовал он вполголоса.

Они поднялись по широким ступеням белого каррарского мрамора. Вера шла, концентрируясь на каждом шаге. Крутая колодка туфель заставляла ее держать равновесие с предельным мышечным усилием, а тяжелый серебряный браслет глухо ударялся о кость запястья при каждом взмахе руки.

Едва они миновали тяжелые дубовые двери вестибюля, Даниил переложил руку.

Его ладонь снова легла ей на голую спину — точно на уровне талии, чуть выше крестца. Пальцы сжались на шелке по бокам, вминая ткань в ее плоть, прижимая ее бедро к своему бедру.

Это было вызывающе, на грани фолы: на официальных приемах такого уровня мужчины держат спутниц под руку или касаются пальцами локтя. Жест Леманна был открытым манифестом обладания. Каждый входящий в зал видел обнаженную спину женщины в ртутном шелке и широкую мужскую руку, лежащую на ее теле без тени сомнения в своем праве.

В вестибюле пахло сыростью растаявшего снега, дорогими сигарами, селективным парфюмом и пудрой.

Мимо них скользили взгляды: оценивающие, холодные, липкие. Вера узнавала лица: вице-президент банка «Санкт-Петербург», двое швейцарских поверенных с чемоданчиками для конфиденциальных документов, старая графиня Зубова в фамильных изумрудах, чей дед когда-то покупал у ее прадеда полотна передвижников.

— Держи подбородок, — прошептал Даниил, не поворачивая головы, его пальцы на ее спине чуть сместились вверх, оглаживая лопатку. — Ты эксперт дома Романовых, а не воровка, пойманная на рынке. Смотри им в глаза.

Они вошли в Белый зал.

Пространство зала подавляло масштабом: два яруса позолоченных хоров, лепные купидоны под падурами потолка, наборный паркет из восьми сортов ценного дерева и огромный камин из зеленого уральского малахита.

В центре зала, на подиуме, обитом черным бархатом, под четырьмя направленными музейными галогеновыми софитами стояла картина.

«Портрет неизвестной дамы с соколом».

Холодный свет выхватывал из полумрака бледное, хищное лицо женщины шестнадцатого века, тонкие пальцы в соколиной перчатке и загнутый клюв хищной птицы. Вокруг подиума уже собралась плотная группа людей с бокалами шампанского.

В центре этой группы стоял доктор Гельмут Вайсберг.

Сухопарый австриец в старомодном двубортном смокинге с золотой цепочкой карманных часов на жилете что-то оживленно доказывал тучному мужчине с седыми бакенбардами, энергично жестикулируя сухими, птичьими пальцами.

— ...флуктуация по связующим материалам исключает чистый шестнадцатый век, дорогой граф! — долетел до Веры скрипучий голос Вайсберга с характерным венским акцентом. — Берлинская лаборатория настаивает на более поздней консервации, но без технологических формуляров мы не можем допустить лот к официальному каталогу «Доротеума»!

Даниил не замедлил шага.

Его рука на голой спине Веры надавила сильнее, толкая ее вперед, прямо в круг света софитов, в плотное кольцо европейских арбитров.

— Доктор Вайсберг, — прозвучал глубокий, бархатный голос Леманна, легко перекрывший светский гул Белого зала. — Вы тратите слишком много слов на то, что решается одним профессиональным взглядом.

Круг расступился.

Десятки пар глаз скрестились на вошедших: на монументальной фигуре Даниила в черном смокинге и на хрупкой женщине рядом с ним, зажатой в его железной хватке, одетой в ртутный шелк с обнаженной до поясницы спиной.

Ловушка захлопнулась. Игра началась.

ГЛАВА 3. ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ

«В механике деформаций предел упругости определяет границу, за которой кристаллическая решётка теряет способность восстанавливать исходную геометрию, приобретая остаточные изменения структуры. В прикладном психоанализе эта черта обозначает момент, когда субъект прекращает защищать свою автономию и начинает находить в акте собственного разрушения форму эмоционального гомеостаза. Внутренний раскол маскируется абсолютной внешней точностью реакций».

— К. Шнайдер, «Клиническая динамика реактивных состояний» (Лейпциг, 1976)

Круг вокруг подиума сомкнулся с мягким, шелестящим звуком шелка и дорогого сукна.

В Белом зале особняка Половцова пахло не искусством, здесь пахло большими деньгами, выдержанным шампанским «Кристалль», ландышевой пудрой немолодых наследниц и животным азартом стервятников, почуявших спорную добычу. Софиты музейного типа грели воздух над черным бархатом подставки; лак на картине давал глухой, слегка маслянистый отблеск.

Доктор Гельмут Вайсберг медленно опустил бокал с шампанским на поднос проходившего мимо официанта. Его тонкие, морщинистые веки за стеклами золотого пенсне прищурились, скользя сначала по каменному подбородку Леманна, а затем медленно, с анатомическим любопытством по хрупкой фигуре Веры.

— Даниил Андреевич, — Вайсберг слегка склонил седую голову. В его немецком акценте звенела снисходительная настороженность старого академического лиса. — Вы всегда отличались смелостью в венчурных ставках. Но венецианское чинквеченто не прощает биржевой кавалерии. Доска «Дамы с соколом» вызывает у берлинской группы массу неудобных вопросов. В частности, масс-спектрометрия связующего. Органическая фракция дает пики, характерные для полимеризованных смол девятнадцатого столетия. Мы стоим перед дилеммой: либо снять лот с венских торгов, либо объявить его школой с неизвестной датировкой по цене рядовой копии.

Вокруг зашелестели сдержанные смешки. Тучный барон фон дер Лейен в первом ряду сочувственно покачал головой, пряча в бокале злорадную усмешку.

Вера чувствовала, как горячая ладонь Даниила на ее обнаженной пояснице медленно напряглась.

Его пальцы не просто лежали на ее коже, они мягко, с неумолимым давлением вдавились в мышцы вдоль крестца. Подушечка его большого пальца легла точно на ямочку Венеры, напоминая о каждом слове, сказанном в сырой мастерской: *«Ты подтвердишь чистоту провенанса картины... Не заставляй меня тратить время на насилие».*

Разница в росте делала их дуэт визуально жестоким. Леманн нависал над ней монолитом, его темный смокинг поглощал свет, а ртутный шелк ее платья, льнувший к бедрам, казался тончайшей чешуей, готовой лопнуть от малейшего натяжения.

— Берлинские лаборатории работают по мертвым каталогам, доктор Вайсберг, — голос Даниила прозвучал вальяжно, наполнив тишину зала вибрацией абсолютной власти. — Они умеют считывать спектры, но не понимают природы реставрационных наслоений. Я не доверяю бумажным клеркам. Я доверяю глазам, которые видят пигмент глубже любого микроскопа.

Он сделал едва заметное движение кистью на ее пояснице, подталкивая Веру на шаг вперед под свет софитов.

— Позвольте представить: Вера Романова. Ведущий эксперт-технолог, реставратор высшей категории. Фамилия должна быть вам известна.

Вайсберг вздрогнул. Его брови взлетели вверх, морщины на лбу собрались в гармошку.

— Романова? — он шагнул ближе, всматриваясь в бледное, точеное лицо Веры. — Дочь Андрея Николаевича Романова? Создателя петербургской школы аналитической консервации?

— Именно так, — спокойно подтвердил Леманн, не убирая руки с ее обнаженной спины, демонстративно оглаживая пальцами изгиб ее талии на глазах у всего петербургского бомонда. — Госпожа Романова проводила контрольную технологическую экспертизу доски лично в моей частной лаборатории. И она с удовольствием объяснит присутствующим природу смоляных фракций, смутивших ваших немецких коллег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.